

УТРАТА СМЫСЛА

Большинство людей уверены в том, что существуют некие объективные, устойчивые и неизменные законы бытия, по которым и свершается всё сущее на земле. Или некие установления и условности. Человеку же остаётся только распознать эти законы и условности, а то и просто угадать их, чтобы в согласии с ними обустроить свою жизнь, с их помощью, как некой готовой отмычки, постичь тайну человеческой жизни. При этом, как понятно, тайна человеческой жизни представляется вполне достижимой. Печальный же опыт «достижения» этой тайны ни о чём не говорит. Никакая логика, опыт и даже никакой прагматизм тут не берутся в расчёт, так как такое постижение тайны человеческого бытия находится на уровне убеждений и верований.

В планетарном масштабе, в космическом значении такие законы, может быть, и есть, ибо это тайна Творца. Что же касается земной жизни человека, как существа духовного и социального, то живёт он обыкновенно не по каким-то неведомым законам, а по тому образу мира, который он принимает в своё сознание и душу. То есть, если и живёт по неким законам, то не иначе, как самим над собой признаваемыми, как правило, этого не осознавая. Извечная же тяга человека к «закону», то есть к какому-то готовому установлению, фетишу, вполне понятна и является проявлением его духовной слабости и несовершенства, столь точно выраженной Ф. М. Достоевским в «Братьях Карамазовых»: «Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».

При этом я менее всего имею в виду прямые декларации и заверения человека о своей свободе. Так устроено наше бытие, что чем больше человек твердит о своей свободе и независимости, тем более это является верным признаком его несвободы и зависимости, ибо точно сказано: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничный деспотизм» (Ф. М. Достоевский). Ведь консервативное по своей сути мышление, то есть, всецело приверженное каким-то догмам (не столь важно каким именно, хоть коммунистическим, хоть демократическим, хоть либеральным), а значит, перекрывающее пути всякого развития, обычно выдаётся за прогрессивное и передовое...

Здесь надо сказать об одном из основных заблуждений, в котором пребывает наше общественное сознание, согласно коему всякий *радикализм* и *революционность*, то есть всякая ломка социальных и духовных форм жизни и нарушение преемственности и традиции, всё ещё почитаются безусловно передовыми и якобы единственно способствующими прогрессу. На самом же деле радикализм и революционность являются самым настоящим консерватизмом, так как тормозят наше продвижение по пути истинного прогресса и в конечном итоге, *не благодаря им, а несмотря на них происходили* позитивные перемены. В этом, казалось, уже должен был убедить людей миновавший жестокий двадцатый век с двумя революционными крушениями России, в значительной степени рукотворными, не выходящими ни из народного самосознания, ни из народного уклада жизни. Впрочем, я высказываю давнюю истину применительно к нашему времени. Её можно подтвердить и известными пушкинскими словами из «Капитанской дочки»: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

А потому нет теперь у нас большей заботы, как заняться *сознанием* человека и *самосознанием* народа. Не теми или иными социальными положениями, хотя и они важны в понимании происходящего, которые являются производными от сознания, его следствием, но именно мыслью человека и его духовной природой. То есть заняться первопричиной, а не следствием. Иначе без такого подхода нам никогда не объяснить ни своей истории, ни своей нынешней жизни, никогда не осознать себя в этом мире, так как всегда есть возможность истинный смысл

происходящего потопить во внешних подробностях жизни, второстепенных и случайных, из которых можно выстроить какую угодно концепцию. Тем более, что в российском обществе уже давно господствует недобрая «традиция», когда всё самое сокровенное – духовное и мыслительное не почитается главным, определяющим наши пути, а чем-то второстепенным, потребным разве что для развлечения...

На примере одного художественного образа Осипа Мандельштама я пытаюсь представить два противоположных миропонимания и миропредставления: одно в согласии с народным строем души, другое – искажённое в силу определённых мыслительных допущений. Не на выбор по вкусу, так как сознание человеческое всё-таки – не ярмарка. При этом строго придерживаюсь художественных текстов, ничего не привнося и не домысливая в их объяснении, дабы не быть упрекаемым в том, что тем самым выражаю какие-то свои мировоззренческие пристрастия.

Остановиться же на одном образе О. Мандельштама представляется оптимальным, так как это даёт возможность более конкретно коснуться характера воззрений поэта и его творчества. Ведь о нём написано столь много прямо противоположного, взаимоисключающего друг друга, и в подавляющем большинстве внелитературного, что теперь не так просто уловить его облик и характер его дарования. Причём, написано зачастую с явным мировоззренческим, идеологическим и даже политическим пристрастием. Иными словами, О. Мандельштам, его своеобразное творчество, его личность и трагическая судьба зачастую используются самым бесцеремонным образом в этих целях. Непроизвольно и преднамеренно. Основанием и поводом к чему является известная, исторически сложившаяся расколотость, или точнее – двуликость нашего общественного сознания.

Этим художественным образом является – *подкова*, рассматривая который мы разумеется коснёмся и других аспектов воззрений и творчества поэта. А поводом для размышления об этом, вроде бы, архаичном образе, послужило стихотворение О. Мандельштама «Нашедший подкову», написанное в 1923 году, но так и оставшееся, как и многое в нашей литературе, необъяснённым, но почему-то всплывшее теперь из прошлого, напрямую соотносясь с нынешним временем.

Во всяком случае бытует мнение, что это стихотворение поэта не получило должной интерпретации.

Удивляет в этом стихотворении бескомпромиссная определённая, не допускающая никаких сомнений, и даже совершенная форма в названии стихотворения – «нашедший», но не «ищущий». Главное же состоит в том, что найти подкову по народному представлению, означает – к счастью. Совсем иное значение оно имеет в данном стихотворении О. Мандельштама и вообще в его поэтическом мире. Собственно говоря, как его представление не совпадает с народным, противопоставлено ему и является предметом моих размышлений.

Конкретный же образ – *подкова* не даст уклониться в другие темы, то есть, позволит вести разговор предельно определённый. Кроме того, таковы нравы в нашей литературе, что в случае нелицеприятной критики или основательного не желаемого разбора произведения, критик тут же упрекается в «вырывании из контекста» отдельных мыслей, нарушая-де целостность поэтического творения. То есть, лишается своего призвания и предназначения объективно объяснять произведение, а не подменять его своим произвольным толкованием. Это стало прямо-таки нормой в нашей литературе со времён революционных демократов. А потому в целях эмпирических я избираю и выделяю в поэтическом мире О. Мандельштама только один образ, к которому он почему-то особенно был страстен – *подкову*. Через этот образ и пытаюсь представить особенности мировоззрения поэта.

Кроме того, непременно надо иметь ввиду ещё одно обстоятельство нелитературного характера. Справедливо писала С. Замлелова, что в толковании литературы существуют определённые условности. В отношении О. Мандельштама «тоже существует условная договорённость, переросшая в мифологию» («Сны с послевкусием», «Наш современник», № 9, 2021), по причине которой, хоть какая-то критика тут же выставляется не иначе, как «травля» великого поэта. Пусть даже критика самая доказательная и объективная. А потому собственно литературного обсуждения наследия поэта пока не получается. Всё переводится в плоскость идеологическую и политическую, где сам поэт – только повод для этого. Имя, облик и трагическая судьба О. Мандельштама самым бесцеремонным образом используются в идеологических и политических

целях, которые для поклонников поэта оказались дороже самой его поэзии. Словно судьбы многих поэтов в ту эпоху были менее трагическими...

Особенно наглядно это проявилось в начале 1990-х годов, в период либерально-криминальной революции, когда его именем обосновывалась «преступность» советского строя. Вопреки всему, – и творчеству поэта, и той исторической реальности, в которой мы жили. Поэт использовался, по сути, как идеологическое оружие для разрушения страны. Такова, мол, была «традиция» постижения его наследия. А «традиция» эта была такой, о чём убедительно писал Е. Антипов: «В наши дни биографии поэтов нередко интерпретируются в антигосударственном ключе. Например, Мандельштама принято однозначно представлять исключительно противником и жертвой правившего режима». («Литературная газета», № 9, 2021). Какими трагедиями и человеческими жертвами оборачиваются такие псевдолитературные идеологические штудии, теперь уже хорошо известно. Причём, для всех, в том числе и для тех, кто предпринимает такие идеологические манипуляции с помощью литературы.

Понятно, что такому тенденциозному литературоведению должна даваться объективная оценка, так как оно, в чём мы имели возможность убедиться, не такое уж безобидное и для духовного здоровья личности, и для народа, и для страны...

Стихотворение «Нашедший подкову» является характерным в поэтическом мире О. Мандельштама в том смысле, что в нём сошлись основные, наиболее дорогие для него мировоззренческие представления. Как отмечали литературоведы, в нём проявилось «ощущение кризисного состояния мира», когда «всё трещит и качается».

Принято считать, что в этом стихотворении первичные стихии – земля, воздух, вода – (лес, море, конь) смешиваются в единую стихию, обнимая всё живое, то есть, здесь якобы представляется некое универсальное, безумно оригинальное миропонимание. Мы же остановимся на том, что имеет отношение к подкове:

Звук ещё звенит, хотя причина звука исчезла.

Конь лежит в пыли и храпит в мыле,

Но крутой поворот его шею

Ещё сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами –

Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли пышущего жаром иноходца.

Так
Нашедший подкову
Сдувает с неё пыль
И растирает её шерстью, пока она не заблестит.
Тогда
Он вешает её на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придётся высекать искры из кремня.
Человеческие губы, которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остаётся ощущение тяжести,
Хотя кувшин наполовину расплескался пока его несли домой.

Справедливо писала С. С. Осокина в статье «Концепция культуры О. Шпенглера как философский контекст творчества Мандельштама 1920-х годов», что в стихотворении «Нашедший подкову», «пронизывающий всё живое порыв сменяется *остановкой движения*», нарушается ход времени, что здесь Мандельштам «высказывает мысль о том, что культура теряет свою сущность... подлинное прошлое уже «не звучит» в настоящем. Культура, утрачивающая связь с живым временем, обесмысливается, превращается в «приличие», что «вторжение хаотических сил отнимает у человека ощущение смысла исторического процесса». Представление вовсе не новое и уж никак не оригинальное. А в наше время особенно злободневное в связи с глобализацией: конец культуры, конец истории... Характеристика миропонимания Мандельштама точная, но вместе с тем и беспощадная. А потому удивляет суждение критика, абсолютно не выходящее из данной характеристики: «Таким образом, он, как и Шпенглер, оказался в русле *передовых* течений философской мысли...».

Но мировоззрение не только не предполагающее продолжения жизни, но оправдывающее её пресечение в каждом новом поколении нельзя не считать ущербным и ненормальным, не уклонённым от правосознания и уж тем более, нет никаких оснований считать его *передовым*. *Модным* считать можно, но не *передовым*... Тем более, что эта мысль поэта об утрате исторического смысла бытия и конца истории является

для него излюбленной, проходящей через всё его творчество: «Созданные человеком формы утрачивают смысл перед лицом новой эпохи» («Гуманизм и современность»), «человечество идёт в небытие, откуда было некогда вызвано» («Слово и культура»). Это, скорее – бессилие осмыслить происходящее, интеллектуальная капитуляция пред сложностью человеческого бытия. Но тогда почему они оправдываются, представляются, как, безусловно, *передовые*? Неведомо.

Как видим, в стихотворении О. Мандельштама *подкова* связана со смертью коня, иноходца. От коня остаётся только подкова, которую «нашедший подкову» и вешает на пороге, чтобы она отдохнула. Но образ коня в русском самосознании и в литературе – изначален. Мы постоянно встречаем «следы древнего обожания коня» (А. Афанасьев), так как он символизирует саму жизнь. Свой мир, своё жилище человек не мыслил без коня. Именно поэтому верхний брус на кровле избы называется *коньком*, что свидетельствует о веровании в охранительную силу коня. А потому смерть коня, как в стихотворении О. Мандельштама, однозначно означает прекращение русского мира, как, впрочем, и остановку хода времени вообще...

Эпические же образы в народном самосознании обладают таким загадочным свойством, что созданное на определённом этапе народного развития не отмирает, не становится чем-то архаическим в последующем, но остаётся живой реальностью. Иначе почему выдающиеся поэты нашего времени обращались к образу коня, хотя в реальной жизни они имели отношение к лошадям, может быть, самое отдалённое. Как в стихотворении Николая Рубцова «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Причём, образ коня здесь связан с самими духовными основами нашей жизни: «Боюсь, что над нами не будет таинственной силы». Или – в стихах Юрия Кузнецова: «Для того, кто по-прежнему молод, / Я во сне напоил лошадей; / Мы поскачем во Францию-город / на руины великих идей»... «Скачи, скачи, мой верный конь. / Я разгоню тоску-кручину / Летя из полымья в огонь». Всё это к тому, что конь в русском самосознании не может умереть, как он умирает в стихотворении О. Мандельштама... А это ведь основной смысловой аспект миропонимания и творчества поэта...

А потому необходимо более детально охарактеризовать тип миропонимания О. Мандельштама, не навешивая ему без всяких нато оснований ярлык, безусловно, прогрессивного,

якобы выходящего из «передовых течений философской мысли». Тем более, что в мировоззрении Мандельштама ясно просматривается несколько далеко не новых либеральных идеологических догм, в неизменном виде, издавна навязываемых русскому народному самосознанию, для него чуждых. Отметим хотя бы основные из них, проявившихся как в стихотворении «Нашедший подкову», так и во многих его других стихотворениях и статьях.

«С МИРОМ ДЕРЖАВНЫМ Я БЫЛ ЛИШЬ РЕБЯЧЕСКИ СВЯЗАН»

Прежде всего – это отрицание всякой государственной организации жизни, как якобы изначально враждебной человеку. Слово не ведая ради «красивости» мысли о том, каким хаосом, страданиями и человеческими жертвами это неизбежно оборачивается. Государственное, якобы по природе своей, находится во враждебном отношении к личностному, человеческому. Почему и действительно ли это так, коль человек – творение и духовное, и социальное, автором не объясняется. Просто предполагается, что государство, как орудие насилия, когда-то отомрёт. Всякая организующая роль за ним не признаётся. Этот фетиш имеет такое дежурное обоснование: «Простая механическая громадность и голое количество – враждебны человеку». Почему – тоже не объясняется. Слово, малое количество, построенное на механических же основах, может быть не враждебным человеку. Хотя история свидетельствует о том, что именно малая часть общества, наиболее агрессивная, как правило, оказывается враждебной к остальному обществу и народу. При этом, отрицается всякая российская государственность – и дореволюционная и после-революционная. И если последняя для него всё-таки терпима, так как он «должен жить, дыша и большевея», терпима по своей интернациональности, то дореволюционная неприемлема принципиально и просто «чудовищна»:

*Чудовищна, – как броненосец в доке,
Россия отдыхает тяжело.*

Ну когда России доводилось «отдыхать» от постоянных военных притязаний «просвещённого» Запада, в том числе и в наше время... Живя в России, он ей «ничем не обязан»:

*С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья –
И ни крупницей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобию.*

Это отрицание государственности, как уже сказано, выдётся почему-то за некое прогрессивное прозрение, передовое представление. Но таковым оно не является потому, что нет никакой уверенности в том, что государственность когда-то отомрёт. Похоже, что государственная организация жизни будет сопровождать человечество во всю его историю. Но априорное, неестественное отрицание её исключает всякое её совершенствование, вносит в жизнь невнятицу, погружает человека в мировоззренческую прострацию, в конце концов, порождает смуту и хаос, становится препятствием на пути декларируемых прогресса и свободы личности... Невразумительность удивительная. Но всё дело в том, что это – всего лишь идеологический приём, так как отрицание государственности здесь является отрицанием именно русской государственности и шире – русского мира вообще, как якобы нежизнеспособного и лишнего в этом стремлении к прогрессу. Но это ведь вполне революционное представление с обзыванием России «тюрьмой народов» и «оплотом реакции», дабы получить хоть какую-то санкцию на любые насилия над ней. О каком уж тут прогрессе можно говорить, тем более о передовых воззрениях...

Странно всё-таки, что, несмотря на очевидные уклонения мирознания О. Мандельштама от правосознания, его толкователи и приверженцы выставляют мандельштамовский образ мышления как абсолютно непорочный, чуть ли не единственно возможный и эталонный. При этом идут в ход даже явные подтасовки в филологической практике недопустимые, такие, к примеру, как утверждение М. Полякова о том, что он «правильно оценил таких поэтов, как Блок...» («Слово и культура», М., «Советский писатель», 1987 г.) Если «правильно», то о чём тогда он полемизировал в статье «Барсучья нора» с Блоком задним числом, когда тот уже не мог возразить? Высоко ценя из современников Бабеля и Зощенко, «почему-то ненавидел Леонова», по словам А. Ахматовой, к А. Блоку «бывал чудовищно несправедлив». Видимо, потому, что А. Блок писал «храня священную любовь, твердя старинные обеты», а это О. Мандельштаму было чуждо по определению.

Совершенно очевидно, что здесь следует говорить не о некоей «прогрессивности», а о несчастье человека, живущего среди народа, которому он «ничем не обязан», непонимающего этого народа и даже враждебного к нему. Творческая судьба Манделштама в этом смысле может быть расценена и понята лишь как трагедия и человека, и поэта. Не трагедия личности, якобы изначально предельно свободной и абсолютно совершенной, попадающей под жернова беспощадного государства, но трагедия человека, живущего в среде народа, который ему чужд и даже ненавистен. Без всякой видимой причины. Лишь потому, что народ этот не такой... Ведь не столь важно от каких именно фетишей и догм человек несвободен, пусть внешне даже самых распрекрасных. Главное состоит в том, что он находится в их плену.

В конце концов, поэт оказался отторгнутым непонятным, чуждым и ненавистным ему миром. И дело тут вовсе не только в Сталине, якобы кровожадном и беспощадном, но в мировоззрении и позиции самого поэта. С «новым строем» у него изначально как раз расхождений не было, он жил «дыша и большевее». Эту трагедию поэта необходимо определить в её мировоззренческих основах, так как она не является только его личной трагедией, но общероссийской, со всей определённой обнажённой А. Блоком, как «народ и интеллигенция» и шире – «цивилизация и культура»...

На это могут возразить, что «речь шла о ликвидации старой интеллигенции как особого социального слоя, в целом настроенного критически по отношению к системе и не принимавшего её ценности» (Владимир Алпатов, НГ-сценарии, 14. 06. 1997 г.). Но в том-то и суть, что эта «интеллигенция» была настроена не столько антисоветски, сколько антирусски, что она отвергала не столько революционную идеологию, которая ей была близка, как «новая архитектура», сколько русский мир вообще, отказывая ему в праве на существование, как не имеющем никакой ценности в сравнении с западным «гуманизмом»...

Но вернёмся к образу *подковы*, антагонистической противопоставленности её в поэтическом мире Манделштама и в русском самосознании. Поверье о том, почему найти подкову означает – к счастью, имеет своё объяснение, глубоко уходящее в народное самосознание. Поверье это восходит к древнему представлению о коне, как существе магическом

и мифическом, продолжающем жить и после своей смерти, защищающем человека и его жилище. Подкова олицетворяет и самого коня, а не является лишь приметой, когда-то существовавшего коня, его следом, свидетельствует о как бы продолжающейся его жизни. А потому, как писал А. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на природу», «известен обычай прибивать на пороге подкову, как средство, предохраняющее границы дома *от вторжения нечистой силы...*».

Такое представление о коне в русском самосознании укоренено очень сильно. Проявилось оно, к примеру, и в сюжете о смерти героя от коня, описанном в «Повести временных лет», и в балладе А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». В этой легенде так же, как и в случае с подковой, со смертью коня не завершается история, а, по сути, только начинается. После смерти коня с героем и происходят главные события. То есть, символическая жизнь коня продолжается и после его смерти. Этот сюжет распространён во всей европейской средневековой литературе, но, как считают исследователи, зародился он на русской почве: «Сюжет смерти героя «от коня», точнее от укуса змеи, выползшей из черепа коня героя. В Древней Руси это повествование связано с именем Киевского князя Олега и изложено, как в «Повести временных лет», так и в Новгородской 1 летописи; в Скандинавии – с именем легендарного викинга Одды Стрелы, о котором рассказывается в «Саге об Одде Стреле», а так же в ряде преданий». («Древняя Русь в свете зарубежных источников», М., «Логос», 2000 г.).

«МЫ ЖИВЁМ, ПОД СОБОЮ НЕ ЧУЯ СТРАНЫ...»

Подкова в русском самосознании таким образом имеет однозначно – *положительный* смысл. И главное – свидетельствует о продолжении жизни, а не о её катастрофическом перерыве... Представление же, допускающее такой перерыв в непрерывности жизни (скажем в пределах одного поколения) трудно назвать действительно прогрессивным, но скорее *революционным* или ортодоксальным...

Тем более удивителен образ подковы в известном стихотворении О. Мандельштама «Мы живём, под собою не чуя страны...». Поражает несоответствие обличительного пафоса стихотворения, посвящённого Сталину, его образной системе и сути выражаемого в нём:

*Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви жирны,
А слова, как пудовые гири верны.
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.*

*А вокруг него сброд тонкошеих вождей.
Он играет услугами полулюдей –
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, –
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову дарит за указом указ –
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.*

Почему, по логике Мандельштама, губительные указы «кремлёвского горца» сравниваются именно с *подковой*, имеющей однозначно положительное значение в русском самосознании? Иного вывода здесь и сделать невозможно: он враждебен к русскому миру по самому факту его существования. Но это и есть первопричина неурядиц российской жизни, где такие противоположные миропредставления не могут и не должны сосуществовать мирно.

Есть ли какое-либо иное объяснение этого стихотворения, которое бы выставило его автора в более приглядном свете? Другого объяснения нет. Он вовсе не обличил «тирана» вопреки намерению, а возвысил его, если следовать правде художественного образа... Ведь по логике стихотворения *антисталинизм является вместе с тем и проявлением антинародности и антирусскости*. Стало быть, Сталин является защитником русского мира. Но в таком случае декларативные страшилки: «Пальцы, как черви, жирны», «усища» и «голенища» ровным счётом ничего не значат, ибо они противоречат центральному положительному образу стихотворения – *подкове*. Вместо обличения «кремлёвского горца» получается самораскрытие поэтом своей антирусскости. А обличаемый «горец» оказывается заодно с русским миром... Вот ведь какое странное значение обнажается, если строго следовать тексту стихотворения, а не каким бы то ни было политическим домыслам и декларациям...

Что стало причиной такого кричащего несоответствия критического замысла поэта и его собственно воплощения? Видимо, всё-таки изначальная нечувствительность О. Мандельштама к слову, то, о чём писала С. Замлелова: «Именно Мандельштаму не свойственна точность слова, более того, со словом он обращался предельно вольно, что вызывало и нарекания, и вопросы ещё у акмеистов... Язык его всегда оставался несколько неправильным» («Наш современник», № 9, 2021). И приводила объяснение С. К. Маковского, редактора «Аполлона», давшего, как говорится, путёвку в поэтическую жизнь начинающему поэту: «Не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неутомимо вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним».

Этой точности слова О. Мандельштам просто не придавал значения, так как в его поэтическом мире основным было звучание слова, а не его смысл. Словно в великих творениях русской поэзии этого звучания слова, «музыки слова» нет, и он, и только он должен её «компенсировать». Но она, «музыка слова» в русской поэзии присутствует изначальна, никак не противопоставляемая смыслу слова. Пожалуй, со «Слова о полку Игореве». Само же противопоставление музыки слова и его смысла уже свидетельствует о неполноте восприятия мира...

Это – дежурный довод в либеральничающей среде, когда о содержании сказать нечего или оно невнятно, выдвигается «музыка слова». Хотя многие стихотворения О. Мандельштама с постоянно нарушаемым ритмом, менее всего можно оценивать с точки зрения этой самой «музыки слова». Эта особенность творчества О. Мандельштама – приоритет звучания над смыслом – столь очевидна, что даже тогда, когда последователи пытаются её как-то затушевать и оправдать, ничего из этого не выходит. Л. А. Закс анализируя «формотворчество» в истории культуры, начиная с античности, и в поэзии О. Мандельштама в частности, отмечал, что она акцентирует внешнюю ипостась, что её «можно назвать *конструктивно-технической*». И это, мол, не исключает «ни духовной наполненности, ни богатейшей многосмысловой эмоциональности». Правда, для этого надо было допустить «эволюцию сознания» поэта, на самом деле не существовавшую, согласно которой эти самые «ипостаси» где-то в начале 1920-х годов

переносятся «с внешней формы на внутреннюю», хотя «доминантой всё же остаётся сама чувственная форма, созданная техническим («строительным») усилием человека и организующая – осваивающая прежде всего физическое пространство». («Концепция духовно-органической формы в творчестве О. Э. Мандельштама: «Восьмистишия» и «Разговор о Данте». «Екатеринбургский гуманитарий», № 1, 1999). Опять-таки *форма* и *физическое*, а не духовное пространство...

Доминанты эти таковы, о чём писал сам О. Мандельштам: «На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлечённой эстетике слова ... пришла живая поэзия слова-предмета, и её творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери...». Согласимся с тем, что посрамление гения Моцарта и оправдание ремесленника Сальери, никаким велением и требованием времени объяснить невозможно. Что же касается звучания, «музыки слова», приведу характерный пример:

*Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души.
Но как в колхоз идёт единоличник,
Я в мир вхожу, – и люди хороши.*

Какая чудная аллитерация: «грош души»! «Грош души» – это, конечно, нечто, ибо душа человеческая не поверяется «грошем», а совсем иными представлениями. Пропагандистская же направленность этого высказывания достойна разве что упрощённых виршей Демьяна Бедного.

Мандельштам упрекает Сталина за насилие, за то, что тот «бабачит и тычет». Упрекает справедливо. Но разве он сам не совершает точно так же насилие, причём, в самой изощрённой форме – насилие над сознанием и над самой природой человека, и, почему-то именно русского человека? И какое насилие является первичным – над сознанием и духом или физическое насилие – очевидно... Это следует из мыслительного мира Мандельштама, выраженного определённо и однозначно.

Следует сказать и о причине этого «спора» Мандельштама со Сталиным. Связан он с тем идеологическим заблуждением, если не сказать больше – шулерством, которое и позволило дважды в течение одного века совершать революции в России. После каждой революции, как известно, непременно

наступает реставрация. Была ли такая неизбежная реставрация в России? Безусловно была, начиная с 1934 года. Но она оказалась, по сути, утаённой от общественного сознания. Если реставрации не было, то ею и является то, что произошло в 1993 году. И по началу реставрационные лозунги слышались. Но так как реставрация в России совершилась ранее, то в 1993 году ничего иного и не могло выйти, как новая революция, на сей раз либерально-криминальная, что не могло скрыть её разрушительной сути.

Вот главная подмена понятий нашего времени. Первые же признаки реставрации, не только не декларируемой, но утаиваемой в прежней марксистско-ленинской оболочке, заметны уже с 1934 года. Окончательно она завершается в той мере и форме, насколько это возможно в разрушенной революционной стихией стране, в годы Великой Отечественной войны. Как понятно, совершал её Сталин. Видимо, неслучайно история избрала для этой миссии именно такую личность, не нуждающуюся ни в похвалах, ни в осуждении, но в объяснении... О его жестокости и коварстве мы имели бы право бесстрастно говорить при условии, если бы страна и общество не были разрушены революцией и Гражданской войной, при непосредственном участии, мировоззренческом обеспечении идеологически ангажированных поэтов. Конечно же, жесток. Но объяснять это лишь чертами его характера самими по себе, значит не видеть общего трагического положения России. Причина и следствие тут должны быть точно соблюдены.

Именно этой общей картины судьбы России и нет в поэтическом мире Мандельштама. В отличие, скажем, от А. Ахматовой. А потому он и делает из Сталина некую страшилку. Но это ведь не осмысление ни «тирана», ни постижение нашей народной и государственной судьбы, а обыкновенное, памятное по опытам революционных демократов обличение... Из этого сопоставления, надеюсь, ясно, кто в большей мере был «революционером», то есть, разрушителем традиционных ценностей – Мандельштам или Сталин...

Но если мы говорим о стихотворении О. Мандельштама «Мы живём, под собою не чуя страны...», об истории, с ним связанной, то должны обязательно рассматривать его в единстве со «Стихами о Сталине», славословными до неприличия:

*Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором.*

Если поэт одному и тому же явлению пытается дать прямо противоположные оценки, то какому из них верить? Естественно, ни тому, ни другому, ибо в обоих стихотворениях – «мыслей недобор», то есть, не постигнута его истинная суть.

Примечательно то, что критическое стихотворение О. Мандельштам написал в 1933 году, за которое попал в ссылку сначала в Чердынь, а потом в Воронеж. Там он мог, как и все писатели, работать, участвовать в литературной жизни. Но он требовал к себе особого отношения, донимая местный Союз писателей притязаниями так как, по словам его брата Е. Э. Мандельштама, «в общении с людьми утверждал своё право на исключительность, переносил это не только на быт, но и на деловые отношения с издательствами, редакциями, Союзом писателей» («Литературная газета», Досье № 1, 1991). Но ему, естественно, предоставляли возможность быть в доме отдыха, писать и работать «в общем порядке». Такая вот была «травля».

Там он «всячески старался добиться, чтобы правление в каких бы то ни было формах стало на путь реабилитации его перед советской общественностью». Сам О. Мандельштам, отрекаясь от стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны...», писал в апреле 1937 в секретариат Союза писателей тов. Ставскому: «При первом же контакте с Союзом я со всей беспощадностью охарактеризовал своё политическое преступление, а не «ошибку», приведшее меня к адм. высылке». («Досье»). А славословные «Стихи о Сталине», написанные четырьмя годами позже, в 1938 году, за которые как это ни странно, последовало более жестокое наказание. Не за обличительные, а за славословные.

Мандельштамовское «Мы живём, под собою не чуя страны», звучит торжественно и даже гордо, как некая невероятная истина. Конечно, поэт и не должен прямо говорить о том, хорошо это или плохо, – жить так, – «под собою не чуя страны». Конечно, нехорошо, неестественно, трудно и мучительно. Но восхищаться этим невозможно. И коль это в стихах имеет значение положительной оценки, то никакой критицизм далее уже невозможен, ибо это величины несоизмеримые. На кого

и на что этот критицизм не был бы направлен. И мы видим, что поэт как бы помимо своей воли прибегает к положительному образу, в обличительном стихотворении неуместном. То есть, поэт оказался выше обличителя...

А. Кушнер задавался вопросом: «Как и зачем Мандельштам написал эти стихи?» Ведь это – «самоубийство» («Новый мир» № 7, 2005). Как известно, Б. Пастернак ответил автору на эти стихи со всей категоричностью: «То, что вы мне прочли не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому».

Не думаю, что умный Б. Пастернак говорил это только из осторожности и опасения, хотя, разумеется, имел ввиду и это. Он даёт оценку этому стихотворению – как не литературе и не поэзии. Скорее всего он различил в этом стихотворении предельное обострение тех представлений, которые не могут иметь положительного значения, а в российской жизни, в особенности.

Но «счастлирое головокружение, овладевшее им» (А. Кушнер) уже, что называется, «несло» О. Мандельштама. Вот «зачем» Мандельштам написал эти стихи. Видимо, эта мысль жить «под собою не чуя страны» представлялась ему столь высокой, значимой и совершенной, что он уже не мог удержаться от того, чтобы не поделиться с ней с близкими ему людьми. Поэтому он и читал столь крамольные стихи, по выражению Э. Герштейн, «налево и направо»: «Мандельштам продолжал бесноваться. Куда он убегал из дому и кого встречал, и с кем разговаривал – я тогда не знала... и читал почти «налево и направо» стихи о Сталине» («Новое о Мандельштаме», «Наше наследие», № 5, 1989). Но на допросе он назвал всех, кому читал это стихотворение, кроме Б. Пастернака...

Кстати, и сам А. Кушнер признавал, что «это не литературный факт». Но далее высказал нечто «загадочное»: «Разумеется, это не литература, – это великие стихи». Словно «великие стихи» могут быть вне литературы. На самом деле ничего загадочного в этом нет. Такое отступление от литературы – излюбленная либеральная мысль, берущая начало, кажется, ещё с революционных демократов XIX века, с их неопределённым «общим делом». До зацитированной формулы нашего

времени: «Поэт в России – больше, чем поэт». При этом имеется в виду, что тем самым поэт возвышается. На самом деле это – принижение поэта, так как здесь некое практическое дело, которое выше всякой поэзии, которым поэт и должен заниматься. Как понятно, это путь деградации литературы, в чём мы убеждались по 60-м – 70-м годам XIX века, о чём убедительно писал В. Розанов. Кроме того, это некая мировоззренческая уловка – ради целей идеологических выдать за «великие стихи» то, что до такого высокого уровня не дотягивает. Это чувствуют исследователи: «Дар Мандельштама – это не совсем уж дар поэта. Во всяком случае не поэта в привычном, классическом смысле слова. Творчество его не вполне поэзия...» (С. Замлелова).

Славословные же «Стихи о Сталине» которые называют «Одой», что не является авторским названием, мало чем отличались в общем потоке славословий вождю: «Для любого читателя 1937 г. она («Ода») безусловно вписывалась в поток хвалебной сталинской поэзии, хотя комбинации основных символов и связи между ними были индивидуально мандельштамовскими» (Н. А. Богомолов). А потому выискивать в них «обвинение посредством похвалы», как это делала И. Месс-Бейер – это и вовсе какая-то филологическая и историческая недобросовестность. Странно же в самом деле, что хвалебные сталинские стихи, естественные для своего времени, теперь выставляются для одних поэтов как упрёк, а для О. Мандельштама, как похвала...

«ЧЁРНЫМ СОЛНЦЕМ ОСИЯН»

Надо сказать, что Мандельштам нарушает логику не только художественного образа подковы, но и других образов, традиционных в русской литературе. В частности образ – чёрного солнца.

*Эта ночь непоправима,
А у нас ещё светло.
У ворот Ерусалима
Солнце чёрное взошло.*

*...Я проснулся в колыбели –
Чёрным солнцем осиян.*

Чёрное солнце в вершинных произведениях русской литературы появляется как верный признак человеческих

страданий и перенесённых трагических испытаний. В «Слове о полку Игореве», как итог терзаний князя Игоря: «Солнце ему тьмою путь заступаше». В «Тихом Доне» М. Шолохова, когда Григорию уже «незачем было торопиться», ибо «всё было кончено»: «Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой чёрное небо и ослепительно сияющий чёрный диск солнца». В стихах Юрия Кузнецова:

*В небесах стоит солнце чёрное
А с лица бежит море слёзное.*

Совсем иное значение образа чёрного солнца мы видим у Мандельштама – человек осеняется чёрным солнцем не в результате перенесённых терзаний и испытаний, а изначально, «с колыбели». Не в конце жизни, а с рождения. Но за этим ведь угадывается традиционная спекуляция на гонимости и «травле»... В мире Мандельштама человек под чёрным солнцем рождается, как бы «обижен» уже по самому факту рождения. В русском народном самосознании под чёрным солнцем человек умирает или пребывает в состоянии, когда для него уже всё кончено...

В этом сопоставлении художественных образов обнажается не просто их разное значение в мире Мандельштама и в русском самосознании, а их антагонистическая противопоставленность. Даже на это можно было бы сказать: поэт исповедовал такие убеждения, ставившие его в трагическое, неразрешимое положение, ну и пусть, так сказать, его право. Но в том-то и дело, что свой мировоззренчески специфический мир он дерзал навязать всему народу. Более того, стремился подменить им мир народный. Это сказалось, к примеру, в стихотворении «Посох»:

*Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?*

Не истина народная должна стать и его истиной, как это бывает у истинных поэтов, но его истина по его произволу должна стать народной... Без всякой поверки – действительно ли это истина. Какая всё-таки гордыня, самонадеянность и эгоизм проявляется в этой декларации... Это, если называть вещи своими именами, является мировоззренческой и духовной агрессией... В ней-то и кроется исток трагизма творческой и человеческой судьбы Осипа Мандельштама... То есть

мировоззрение, выдаваемое за передовое и прогрессивное, не только не является таковым, но неизбежно вызывает то кризисное состояние мира, которое он относил на счёт особенности времени, века, эпохи.

И это не было особенностью миропредставления самого О. Мандельштама, но расхожим мнением, догматом всей радикальной интеллигенции с революционным сознанием. Об этом же, по сути, писала Н. Я. Мандельштам уже многие годы спустя, когда столь многое изменилось в стране и когда уже было время подумать над происходящим. Нет, снова тот же догмат в его изначальной неизменности: «Список стихов Мандельштама, распространяющийся по всей стране и формирующий сознание новой, только нарождающейся культурной прослойки – новой интеллигенции внуков...».

На это можно сказать разве что словами М. Гершензона из знаменитого сборника о русской интеллигенции «Вехи» (М., 1909), предсказавшем революционное крушение страны. Но у интеллигентов той поры ещё хватало и образованности, и интеллекта, и беспокойства за судьбу страны, а значит – и за свою собственную судьбу, чтобы точно оценить происходящее в России. Это всё то же убеждение радикальной части интеллигенции с революционным типом сознания в том, что она располагает такими духовными ценностями, которые осталось только передать народу (или навязать силой) для его благополучия и даже процветания: «Мы не люди, а калекки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше – даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное... Мы были твёрдо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа *качественно* другая – это нам и на ум не приходило... Славянофилы пробовали вразумить нас, но их голос прозвучал в пустыне».

Ни в коем разе не хочу сказать, что здесь кроется какая-то преднамеренность и умысел. Автор, может быть, вполне искренен, что, конечно, не меняет сути дела. Ничем не обязанный миру державному, то есть русскому народному миру, непонимающей его и враждебно к нему настроенный, он, тем не менее, пытался определять его судьбу. В этом и заключался трагизм его личности. Но эта «непатриотичность» О. Мандельштама

к России, к стране, в которой он жил, имеет и более широкую, мировоззренческую природу. В его миропонимании мир *природный*, естественный оказывается почему-то противопоставленным миру *социальному*. Мир природный в его понимании не самоценен, но является как бы лишь средством для какого-то иного мира, более совершенного – интеллектуального и духовного. Это особенно наглядно проявляется в его описании леса в том же стихотворении «Нашедший подкову». «Лес корабельный, мачтовый» – не столько собственно розовые сосны – но доски для обшивки корабля – «любуюсь досками». А собственно для живых сосен *неудобна* земля:

*И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла.*

Но в этом проступает мир потребительский. Отвергнув природное и естественное, невозможно достичь духовного и интеллектуального. Это какое-то странное миропонимание, при котором декларируемое оборачивается своей противоположностью.

Примечательно, что в ранее написанном стихотворении, в котором поэт «пел дерево», – просто как строительный материал и ничего более:

*Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И нынче я не камень,
А дерево пою.
Оно легко и грубо,
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И вёсла рыбака.
Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.*

Обыкновенный утилитарный подход, прагматизм, достойный, конечно, внимания и уважения, но мы ведь говорим о искусстве, об образном осмыслении бытия... Мир природный в русском самосознании, постигаемый в литературе, имеет совсем иное значение, человеческое. Сразу же вспоминается описание дуба в «Войне и мире» Л. Толстого, представляемого

как древо познания. Я же обращусь к описанию дубов в «Поднятой целине» М. Шолохова. Тем более, что в нём так же, как и в стихотворении О. Мандельштама помянуты *сваи*: «На другой день после того, как над Гремячим Логом спустился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную Дуброву. Ему нужно было собственноручно отметить дубы, подлежащие порубке...

На краю отножины натесал штук шесть дубов, подошёл к очередному. Высокий, прогонистый дуб, мачтового роста и редкостной строевой прямизны, горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми каранчами и вязами – перестарками. Поплывывая на ладони, с чувством сожаления и грусти взирал на обречённое дерево.

Сделал надтёс, надписал на обнажённой от коры боковине чернильным карандашом «Г. К.» и, откинув ногой сырую, кровоточащую древесным соком щепу, сел покурить. «Сколько годов жил ты, браток! Никто над тобой был не властен, и вот пришла пора помереть. Свалют тебя, растелешат, отсекут топорами твою красу – ветки и отростки, и повезут к пруду, сваей вроят на месте плотины... – думал Яков Лукич снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба. – И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда не сопреешь. А потом взломной водой по весне уволокёт тебя куда-нибудь в исход балки, – и всё тебе, конец!»

От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. «То ли уж помиловать тебя, не рубить? Не всё же колхозу на пропастишку... – и с радостным облегчением решил: – Живи! Расти! Красуйся! Чем тебе не жизнь? Ни с тебя налога, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать... Живи, как Господь тебе повелел!»

Он суетливо вскочил, набрал в горсть глинистой грязи, тщательно замазал ею надтёс. Из отножины шёл довольный и успокоенный...

Все шестьдесят семь дубов пометил расчувствовавшийся Яков Лукич, сел на коня, поехал по опушке леса».

Не касаясь таинственной числовой символики в этой картине романа М. Шолохова, отмечаю прямо противоположный подход писателя через живой природный мир постичь всю сложность человеческого бытия. Здесь природа – уже не собственно натуралистическая, но переосмысленная, направлена

на постижение мира человеческого, но вовсе не на утилитарное устройство человека в мире... Прямо противоположный смысл этих картин оттеняется упоминанием о сваях. Мандельштам просто «поёт» дерево, то есть восхищается древесиной. В романе же Шолохова герой-хозяйственник, а потому, казалось, кроме возможных свай, он в дереве ничего и видеть не мог. Но он поступает как-то и вовсе не прагматично, «не по-хозяйски»... И за этим – таинственность и бесконечность жизни, а не просто, её катастрофический перерыв, как в стихах О. Мандельштама:

*И вершина колобродит,
Обречённая на сруб...*

«ОТЦЕПЕНЕЦ В НАРОДНОЙ СЕМЬЕ...»

Осипу Мандельштаму в русской поэзии принадлежит некое особое, исключительное место, на других поэтов не распространяющееся. Оценка его, отношение к нему, скажем так, – не вполне соответствуют характеру его творчества и значению его поэтического наследия. То ли из какой-то политкорректности, то ли из нашей врождённой деликатности значение и место Осипа Мандельштама в русской литературе, как правило, точно не определяется. А ярлыки типа «великий поэт», «блестящее мастерство», «гений» не спасают, хотя, разумеется, Осип Мандельштам – в выражении своих мировоззренческих и идеологических пристрастий был честен и последователен.

Но мы всё же говорим о русской поэзии, о поэте. Все, писавшие об О. Мандельштаме, кажется, единодушно относили его к русской поэзии, к русской литературе. Но в таком случае теперь, когда прошло время и когда многое определилось, при свете пережитых Россией и её народами трагедий и испытаний, мы должны и обязаны по возможности точно определить своеобразие О. Мандельштама и его истинное положение в русской литературе, и не только в литературе.

Анна Ахматова уже в шестидесятые годы миновавшего XX века писала о том, что «Сейчас Осип Мандельштам – великий поэт, признанный всем миром». И формально это справедливо. Но не по существу, так как это «всемирное признание» – показатель не такой уж безусловный, каким его зачастую выставляют. Признание «всем миром» для русского писателя

не главный и вовсе не универсальный критерий оценки, когда уже и Нобелевская премия выродилась окончательно.. Если эта премия по литературе вручается журналисту средней руки, лишь по политическим соображениям, это говорит об отношении к русской литературе со стороны так называемого мирового сообщества, выискивающего, лишь диссидентствующих авторов, пишущих на русском языке. Припомним, что слово *диссидент* в русском языке означает вовсе не наличие своей, отличной от господствующей позиции и уж тем более не альтернативной, но – *вероотступничество*, критицизм по отношению к России и русскому народу. То есть – не устройство жизни на каких-то иных основах, но разрушение существующего уклада жизни, как конечной цели, без предложения «новой архитектуры». Ведь диссидентство – феномен больше психологический, чем социальный. Разумеется, Осипа Мандельштама к этому движению не причислишь.

Выдающийся поэт первой волны русской эмиграции Георгий Иванов приводил слова одного из редакторов «Собрания сочинений» Осипа Мандельштама, вышедшего в Нью-Йорке, а именно – Б. А. Филиппова: «Огромная иудейско-христианская культура стоит за каждым словом, за каждым нещедрым образом Мандельштама... Никакого украшательства. Только необходимое. Но для полной расшифровки читателем этих строк-иероглифов так много требуется знаний, ума, чувства». Довольно точная характеристика творчества О. Мандельштама. Хотя суть «иудейско-христианской культуры» мы можем узнать по другим источникам и по другим текстам. Что нам добывать её, «расшифровывая» «строки-иероглифы» поэта, вроде бы, принадлежащего русской литературе...

Казалось бы, пусть существует и такое миропонимание. Пусть цветёт поэтическая палитра во всём её многообразии... Всё так. Да только не получается такого цветения, так как то миропонимание, которое исповедует О. Мандельштам, непримиримо, агрессивно и даже воинственно к русскому православному миру. Причём, без всякой на то причины, по определению, по самому факту его существования. Ну, скажите, почему Россия для О. Мандельштама «чудовищна» в стихотворении 1913 года, то есть до её революционного крушения в феврале 1917 года. Значит, подлежит «исправлению», революционной «перековке».

Осип Мандельштам – исправный идеолог революционной переделки, «перековки» России, то есть идеолог произвольных насилий над ней. Никакая другая поэтическая задача не сказалась в его творчестве с такой определённой силой, как эта. Но теперь-то, когда эта революционность изблещена и развенчана в нашем общественном сознании, её идеолог не может оставаться неотвественным за неё, так как поэтическое и политическое в его мире находятся рядом.

Почему Москва по определению «курва», и почему она «лапчатая» «рассадник холода»? Это известно только самому О. Мандельштаму и его идеологическим преемникам и последователям:

*У кого под перчаткой не хватает тепла,
Чтоб объехать всю курву – Москву.*

*... Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве.*

А вот когда Иван Великий «на чёрной площади Кремля» кощунственно сравнивается с виселицей – это является не чем иным как открытой агрессией против православной России:

*...разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица прям и дик.*

Видимо, это и есть «блестящее мастерство». У М. Горького в «Жизни Климса Самгина» есть сравнение Ивана Великого с пальцем, указующим в небо. Согласимся, что это вовсе не то, что сравнение его с «виселицей», да ещё почему-то привыкшей «разбойничать»...

Иногда О. Мандельштам и вовсе впадает в некий стихотворный экстремизм:

*Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье...*

Кроме того, здесь явно ощутима угроза не только старому миру, но русскому миру вообще.

Ну и – нарушение не только православного, но и христианского миропонимания вообще, не знающего ни иудея,

ни эллина, для которого все люди равны. В поэтическом же мире Осипа Мандельштама это антихристианское разделение людей выражено чётко и недвусмысленно:

*Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из чёрных дыр зияла
Срамота.*

Это – главное. Этим определяется система ценностей в его поэтическом мире, его отношение к православию, России, русскому народу.

Если отыщутся филологи, которые, основываясь на богатейшей русской поэзии, докажут мне, что это и есть «блестящее мастерство», я буду им только благодарен. Но пока таких исследователей встречать не доводилось. Только бездоказательные ярлыки в самых превосходных степенях.

Его «гражданские» стихи, а точнее – «политические» представляют собой абсолютно либеральную догматику, без каких-либо уклонений и личных интерпретаций. К примеру, – отношение Ленина и Сталина:

*Прошёлестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.*

Усматривать в таких декларациях «блестящее мастерство» нет никаких оснований. Скорее – это обыкновенная идеологизированность, не позволяющая автору объяснить столь сложный и трагический период истории России. По сути, это – интеллектуальная капитуляция в угоду догматике.

Последовательно отстаивая и защищая творчество Осипа Мандельштама, Станислав Куняев делает существеннейшее уточнение: «Ссылаясь на какое-то зарубежное издание поэта, Колодный, цитируя последнюю строчку стихотворения «Если б меня наши враги взяли», совершает, в сущности, подлог и взамен подлинного текста: «Будет будить разум и жизнь Сталин», – цитирует «губить»... Но при такой, ни на чём не основанной, кроме «глубоких убеждений», недопустимой «правке» классического стихотворения О. Мандельштама смысл его изменяется на прямо противоположный:

*И налетит пламенных лет стая,
Прошлестит спелой грозой – Ленин.
И на земле, что избежит тленья,
Будет **губить** разум и жизнь – Сталин.*

«Будить» и «губить» – это ведь противоположные смыслы. Так классика «исправляется» в угоду «нужной» идеологии, точнее – догматике. В данном случае – либеральной, антисталинской, а, по сути, – антигосударственной. Было и остаётся совершенно ясным, что «бороться надо не против сложившегося в России строя, а за Россию» (Ст. Куняев). Тем более строя, так трудно, с такими большими жертвами и потерями сложившегося... И такое текстологическое уточнение Ст. Куняева крайне необходимо и своевременно. Попадаетея сборник стихотворений Осипа Мандельштама «Автопортрет», вышедший в серии «Из поэтического наследия» (М., «Центр-100», 1996), в котором строчка «Будет *будить* разум и жизнь Сталин» исправлена на «будет *губить*». Такое вот ратование за сохранность поэтического наследия. Так неправда пошла гулять по свету *стотысячным* тиражом. Но ведь к такому обману прибегают только в деле несправедном...

Правда, дело тут не в Л. Колодном, так как «зарубежные издания» – дело рук Н. Я. Мандельштам, вдовы поэта, работавшей на Запад – и своими книгами, и наследием поэта. Откуда и увидена «гениальность» О. Мандельштама в России. Известно, что «некоторые стихи своего «гениального мужа» Надежда Яковлевна правила по собственному усмотрению уже после его смерти» (С. Замлелова). Н. А. Богомолов отмечал, что подавляющее большинство текстологов «исходят из того, что вариант последней строчки: «Будет губить разум и жизнь Сталин – интерполяция Н. Я. Мандельштам». И последняя авторская воля: «В данном случае она несомненна – «будить». («Новое литературное обозрение», № 3, 1998). Такое вот у нас в отношении к О. Мандельштаму «литературоведение». И, как это ни странно, согласное с ним книгоиздание...

Согласно либерал-революционной догматике «шестидесятников» Сталин может только «губить» и ни в коем разе не «будить», да ещё главное – «разум и жизнь». Ну под его руководством проведена индустриализация разрушенной революционным крушением страны, ну выиграна Великая Отечественная война, ну разгромили фашизм... Но это, по логике сторонников перманентной, нескончаемой революции – сущая

малость в сравнении с его «тиранией». Но ведь строилась пока неведомая государственность, её новый тип. В разорённой стране, в условиях непрекращающейся революционной борьбы, без жёсткости и даже жестокости обойтись было невозможно. И «Сталин был адекватен породившему его историческому процессу» (А. Зиновьев). Ретивые революционеры, сами спровоцировавшие эту жестокость, продолжали своё «святое» дело разрушения, не вполне понимая смысла этого строительства и вообще происходящего в стране. Но в таком случае, пенять надо на историческую закономерность и неизбежность, а не на ту или иную историческую личность... И потом такое положение сложилось ведь при активнейшем участии тех, кто «свободой горел». Ну а коль в результате такого «горения» неотвратимо вышло то, чего они не ожидали, то это свидетельствует об их непрозорливости... «Обещают им свободу, будучи сами рабами тления...» (Первое соборное послание св. апостола Петра, 2; 19). Но теперь, задним числом «исправлять» что-либо в истории с помощью такой вредной правки недопустимо и преступно.

Публикация стихотворения «Если б меня наши враги взяли» с идеологической «правкой»: вместо «И на земле, что избежит тленья/ Будет *будить* разум и жизнь Сталин» – «Будет *губить* разум и жизнь Сталин», разве это не является убедительным свидетельством того, о чём писала С. Замлелова, говоря о юбилее «российского советского поэта, человека сложной, трагической судьбы, ставшего жертвой сначала политических репрессий, а затем – политических же спекуляций»?..

Но и в стихах самого О. Мандельштама произвол со словом бывает просто поразительным. К примеру, – «Воронеж – ворон, нож!» Разве это не свидетельствует о том, что принята виртуозная версификация, жонглирование словами? Ведь такое определение Воронежа строится на абсолютном произволе: ворон – зловещая птица, нож – орудие убийства. Аллитерация сама по себе оказалась дороже топонимического значения слова. В то время, как значение этого слова совсем иное. Но у О. Мандельштама – другая «задача», будем полагать проистекающая, не из злого умысла и не из какой-то недоброй преднамеренности, но из существа его веры, ментальности что ли – выискать уничтожение всего русского там, где его быть не может...

Никакого парадокса нет в том, что О. Мандельштама сделала известным поэтом советская власть, и она же его уничтожила: «Мандельштама физически уничтожила советская власть. Но всё же он вышел на большую литературную дорогу одновременно с укреплением этой власти... Имя Мандельштама, начиная с 1922 года, из узкокружкового становится именем известного поэта» (Г. Иванов). Он был советским поэтом в самом ортодоксальном смысле слова. Изначально славословил грядущую революцию, жил «большевее».

Как чужда и ненавистна была ему Россия самодержавная, «мир державный», так же непонятна и ненавистна стала потом Россия новая, советская. И только период революционного анархизма и беззакония начала двадцатых годов казался ему «прекрасным» веком. Падение и катастрофа его таланта происходили не от того, что он, якобы приспособившись к новым условиям, жил «большевее», а в том, что «штабс-маляр, поющий «пробки в Моссельпроме» из него выйти не мог. (Это из стихотворного определения С. Есениным В. Маяковского).

О. Мандельштам словно не понял того, что ретивая революционность уходила в прошлое, что происходила «смена вех», трудно и мучительно созидался новый тип государственности, когда в прежней идеологической революционной личине совершался возврат к народной культуре и народному самосознанию. И его вчерашний критицизм к России и русскому народу, необходимый первореволюционерам для разрушения великой православной державы и подавления всякого сопротивления, теперь воспринимался как крамола, как противодействие новой власти, созидавшей новую государственность. Это была трагедия не только О. Мандельштама, но и многих поэтов. Даже Демьян Бедный попал в подобный переплёт. К тому же О. Мандельштам сочинял «политические» стихи, всецело выражающие либеральную догматику и далёкие от того, что действительно происходило в стране и в народе. Это было уже прямым вызовом новой власти, не реагировать на который она не могла. Так что причина человеческой трагедии О. Мандельштама была предопределена не только жестокостью власти, не столько чьим-то произволом и прихотью, сколько самим характером творчества и миропонимания поэта. Ну а власть тогда и не могла быть иной, в условиях разрушенной государственности и трудного

созидания новой, в условиях жесточайшего идеологического противодействия ей.

Особенно же несовместимость мировоззрения О. Мандельштама с русским самосознанием сказалась в его запоздалом споре с А. Блоком о гуманизме, в статьях «Барсучья нора» и «Гуманизм и современность». А. Блоку вообще отказывается в праве на звание поэта современного, а значит поэта вообще: «Блок был поэтом девятнадцатого века». Почему? Ведь, по сути, всю свою творчески активную жизнь он прожил в двадцатом веке... Потому что, как считал О. Мандельштам, «вся поэтика девятнадцатого века – вот границы могущества Блока...». Таким образом, за критерий оценки художника берётся признак во многих мере формальный – поэтика, приёмы. Сам же Блок считал, что «поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приёмы; но сущность его дела не устареет», что «сущность поэзии, как и всякого искусства, неизменна». И вообще, как считал А. Блок, «несовременного искусства не бывает». Разумеется, если это действительно искусство.

Но за таким воззрением О. Мандельштама кроется известное, вполне «прогрессистское» представление, согласно которому художество развивается по законам прогресса – от простого к более сложному, где предшествующее непременно устаревает и отвергается, тогда как вся история культуры говорит об обратном. Хотя сам же он писал в статье «О природе слова»: «Для литературы эволюционная теория особенно опасна, а теория прогресса прямо-таки убийственна»... Но одно дело осознавать это и другое – следовать ему. Мандельштам не ведал о главном противоречии времени, над которым мучился Блок – *цивилизация и культура*, их взаимосвязи, поглощение культуры цивилизацией... А. Блок видел трагедию крушения гуманизма во всем мире, а не только в России. Для О. Мандельштама же русское является провинциальным, противопоставленным европейскому. Из этого логически и неизбежно выходит, что спасение – в европейском сознании, как якобы более передовом: «Выход из национального распада к вселенскому единству лежит для нас через возрождение европейского сознания».

Примечательно, что порчу русского сознания О. Мандельштам усматривает, начиная с Ап. Григорьева, наиболее русского критика: «Начиная с Аполлона Григорьева, наметилась

глубокая трещина в русском обществе». Блок же усматривает порчу русского сознания совсем в ином, в голой обличительности самой по себе, о чём он писал в дневнике: «Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли». Отсюда – начало порчи русского сознания, языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве – вплоть до мелочи – полного убийства вкуса». С именем же Ап. Григорьева Блок связывал не безвольное подражание европейскому, а значит и утрате своего, на что легко и просто шли, говоря пушкинскими словами, «обезьяны просвещения», а, наоборот, в «нашей умственной и нравственной *самостоятельности*» (Ап. Григорьев): «В наши дни «вопрос о нашей самостоятельности» (выражение Григорьева) встал перед нами в столь ярком блеске, что отвернуться от него уже невозможно». Но это ведь поразительно, что Ап. Григорьев, критик трагической судьбы, оставшийся верным русской литературной традиции, по воззрению О. Мандельштама виновен в том, что якобы с него «наметилась глубокая трещина в русском обществе». То есть обвинялся поэтом именно в том, что отстаивал русскую литературную традицию...

И самое главное различие в воззрениях О. Мандельштама и А. Блока – это понимание *хаоса* и *стихии*. Мандельштам различал лишь хаос, причём, видел почему-то его, как силу разрушительную в самой природе русского человека, в его воззрениях и представлениях, в его ценностях: «Хаос поёт в наших русских печках, стучит нашими вьюшками и заслонками». То есть, якобы сама природа русского человека является препятствием в его развитии, злой разрушительной силой.

А. Блок чётко различает *хаос* и *стихию*: «Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос – устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначального создаётся гармония». Поэт говорит не только о стихии природной, но и *народной*: «А уверены ли мы в том, что довольно «отвердела кора» над другой, такой же страшной не подземной, а земной стихией – стихией народной?»

Из таких разных воззрений выходят и совершенно разные пути спасения. Для О. Мандельштама – это путь возвращения к гуманизму европейскому, во вселенском единстве, и неопределённой новой социальной архитектуре: «*Но есть иная социальная архитектура...*».

Перед А. Блоком же со всей остротой встаёт вопрос о соотношении цивилизации и культуры, ибо хранителями культуры становятся варварские массы. Итак, А. Блок видит спасение в народе, в стихии народной, О. Мандельштам, – в социальной архитектуре. *«Есть иные люди, – писал Блок, – для которых земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из неё – «стихийные люди».* Что надежнее, что вернее – «социальная архитектура» или живая народная стихия, надеюсь, очевидно.

В таком же русле находится и отношение О. Мандельштама к русской литературе. Меня всегда несколько удивляло подчёркнуто лояльное отношение к О. Мандельштаму А. Ахматовой. Видимо, тут сказалось то, что она как человек деликатный, особенно в зрелом возрасте, оставалась верна первоначальной литературной дружбе. Это в какой-то мере подтверждается в воспоминаниях М. Ардова: «В стихах Мандельштама о русских поэтах есть такие строки:

*А ещё над нами волен
Лермонтов, мучитель наш.
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.*

Я спросил однажды у Анны Андреевны, почему Осип Эмильевич так нехорошо пишет о Фете. Она сказала мне на это с улыбкой: «Просто в ту минуту ему так показалось». («Литературная газета» № , 1989). То есть А. Ахматова отделалась шуткой. Ведь тогда надо было объяснять то, почему «Лермонтов, мучитель наш». Почему «мучитель», над кем он «волен», то есть кому мешает, чей «наш»? Только ли поэтов, кому не дано было так владеть словом как Лермонтову? Очевидно, что нет. А это заводило бы совсем в иные сферы не только поэзии, но и воззрений вообще... При этом, что у А. Ахматовой были иные воззрения: не «Мы живём, под собою не чуя страны», а наоборот «А живём торжественно и трудно...».

Итак, спасение по О. Мандельштаму кроется во «вселенском единстве» и «мировом хозяйстве», в новой «социальной архитектуре», то есть, говоря современным языком, в глобализации. Причём, главный довод, главная причина, по которой Россия «выпадает», по сути, из мировой истории является то, что, «простая механическая громадность и голое количество враждебно человеку». Но тогда возникает неизбежный

вопрос: почему естественное единство в масштабах России «враждебно человеку», а всемирное, вселенское единство, ещё большая огромность и уж точно механическая, а не естественная, построенная на сомнительных идеях, по логике О. Мандельштама, уже не только не враждебна человеку, но якобы является для него великим благом? Этот логический провал в мировоззрении О. Мандельштама не находит объяснения.

Как панацею от всех бед такое сознание выдвигает «вселенское единство», не особенно задумываясь о том, действительно ли это является благом для человека. Приведу в связи с этим довод Даниила Андреева, познавшего это «единство» на практике, из его «Розы Мира»: «Это возникший ещё во времена древнеримской империи мистический ужас перед грядущим объединением мира, это неутолимая тревога за человека, ибо в едином общечеловеческом государстве предчувствуется западня, откуда единственный выход будет к абсолютному единовластию, к «царству князя мира сего», к последним катаклизмам истории и к её катастрофическому перерыву. Тирания будет тем более абсолютной, что тогда закроется даже последний, трагический путь избавления: сокрушение тирании извне в итоге военного поражения: воевать будет не с кем, подчинены будут все. ...И всемирное единство, мечтавшееся столькими поколениями, потребовавшее стольких жертв, обернётся своей демонической стороной: своей *безвыходностью* в том случае, если руководство этим единством возьмут ставленники тёмных сил».

Совершенно очевидно, что ратование за неопределённую социальную архитектуру и в то же время отрицать всякую государственность, то есть всякую естественную организацию жизни и вовсе является нелогичным.

Обоснование же этой странной логики, точнее, кричащей нелогичности всецело основано на представлении, что народное и национальное, то есть всё особенное в человеке, что и составляет его личность, почитается не неизбежным условием его жизни, а якобы препятствием в его развитии. Почему-то нивелирование людей почитается очень большим благом и признаком прогрессивности. Разумеется, всё ради свободы личности. Но через стирание особенного в человеке подлинная свобода не достигается... Особенно наивными эти прозападнические суждения О. Мандельштама представляются

теперь, когда коллективный Запад предпринял очередной военный поход против России, на наше народное и государственное уничтожение.

Эту особенность представлений О. Мандельштама справедливо, хотя и радикально, отмечает Александр Андришкин: «Он пытается создать культуру нового государства – русскоязычного, но не русского, даже – антирусского» («День литературы», № 1, 2002). Намерение, конечно, более чем странное, так как тем самым русскому народу отказывается в самом праве на существование... Кроме того, нет никаких признаков того, что человечество идёт к некоему вселенскому единству, несмотря на безумие глобализации, скорее, мир может пребывать в гармонии в своём единстве многообразий.

Как известно, О. Мандельштам в зрелые годы принял лютеранство, сменил веру, что равносильно переливанию крови, не подходящей по группе. Естественно ли *для поэта* жить в православной стране с иным вероисповеданием, жить среди народа, презирая его веру? Нет, конечно. Воистину – «Мы живём, под собою не чуя страны...». В этом смысле эта строчка поэта приобретает символическое значение.

Это вовсе не осуждение поэта и не уничтожение его, а констатация факта. Эта, выпирающая в творчестве О. Мандельштама идеологическая составляющая, о которой говорить не принято, и оказалась, во многих мерах, для него роковой. Он не смог преодолеть явно русофобских убеждений, к чему, кажется, и не стремился.

При всём несомненном таланте О. Мандельштама эта сторона его мировоззрения не свидетельствует ни о его объективности, ни о его прозорливости. А умалчивание её свидетельствует о том, что она, по-прежнему в ходу, выполняет ту же неблагоприятную роль уничтожения России.

Трагедия О. Мандельштама в том и состояла, что его, в конце концов, отторгала не столько новая коммунистическая социальная система, к которой он был вполне лоялен (это ведь тоже была новая «архитектура»), сколько сам русский мир, к которому он был почему-то изначально враждебен.

Я понимаю, сколь необычны мои суждения о творческой и человеческой судьбе О. Мандельштама на фоне расхожих представлений о поэте, выводимых, не из его творчества, не из его текстов, а из соображений внелитературных. Но я обязан был их высказать. Во-первых, потому, что они

выходят из текстов поэта, из его творчества. Во-вторых, они несколько не унижают поэта, но свидетельствуют о всей сложности и трагичности его судьбы и положения в русской литературе. Без такой «поправки» наше представление о поэте О. Мандельштаме будет неточным, что ничем не может быть оправдано.

НЕПРИМИРИМЫЙ «БОРЕЦ» СО СТАЛИНСКИМ РЕЖИМОМ...

Исследователи порой говорят, что «Стихи о Сталине» О. Мандельштам писал как попытку спастись. По-человечески это можно понять. Но «великие поэты» не писали стихов по каким бы то ни было прагматическим поводам. Можно ли представить, чтобы великий М. Лермонтов, написавший «Смерть поэта», через какое-то время написал бы обратное: вместо «вы жадною толпой стоящие у трона» – не жадною?.. Нет, конечно. Да, поэт обличал, но не власть, а «свет», «витий»: «Опять народные витии за дело падшее Литвы / На славу гордую России / Опять, шумя восстали вы / ... Да, хитрой зависти ехидна / Вас поражает, вам обидна / Величья нашего заря, / Вам солнца Божьего не видно за солнцем русского царя».

И тут надо сказать, что проблема «поэт и власть» издавна и до сих пор у нас трактуется превратно. А в случае с О. Мандельштамом это проявилось в особенности, превратившись и вовсе в корпоративное толкование. Обычно представляется так, что прекрасный во всех отношениях поэт, и, разумеется, непогрешимый и свободный противостоит тёмной и тупой власти. Есть, разумеется, во все времена и этот аспект. Но основное противостояние проходит не здесь, а между поэтом и «общественным мнением», которое побеспоащадней всякой власти. А в революционный век, тем более. И не столько потому, что там, наверху – безжалостный тиран, а потому, что в разворошённой революцией стране «Ещё закон не отвердел, / Страна шумит, как непогода» (С. Есенин)...

Какое значение на самом деле имела проблема «поэт и власть» и особенно в советский период истории, можно увидеть на примере известного постановления ЦК ВКП(б) 1946 года о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклада А. А. Жданова с проработкой Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Причины и истинный смысл этого

постановления, как видно по последующим его объяснениям, за редким исключением, так и остались не постигнутыми. А в либеральный догмат о «тирании» и «подавлении свободы творчества» всё это явно не укладывается.

Мне всегда это постановление казалось каким-то беспричинным и мало чем мотивированным. В самом деле, только закончилась великая война. Анна Ахматова – один из самых талантливых поэтов страны, многое уже создавшая и не только написавшая «Мужество» (1942 г.). Михаил Зощенко – хороший рассказчик, юморист, популярный писатель, отмечаемый наградами. Почему они вдруг оказались соратниками по несчастью? Уже только одно это должно было насторожить серьёзных исследователей. Ведь это понимали наиболее проницательные современники такого странного события: «Такие разные по жанрам и литературным судьбам писатели, как Ахматова и Зощенко, были искусственно соединены в этом руководящем документе» (Э. Герштейн).

О том, какая нешуточная политическая подоплёка скрывалась за этим постановлением, рассказал в своих воспоминаниях литературовед Дмитрий Урнов («Литература как жизнь», «Наш современник», № 6, 2018). Он справедливо отмечал, что не только в политических верхах шла борьба за власть, но и «в творческой среде шла своя борьба за власть в литературе». А мы добавим, что это была борьба духовно-мировоззренческая, за то, какое «направление» литературы получит преобладание. Но даже не это оказалось главным. В этой истории основной оказалась внешняя составляющая. Не прощали А. Ахматовой её «Мужества». Но «так могли думать раздражённые ахматовским мужеством «издалека», то есть извне, из-за рубежа. А началось всё с дипломатического демарша, провокации, с визита к А. Ахматовой атташе британского посольства сэра Исайя Берлина в сопровождении нашего литературоведа, имя которого называлось предположительно. Правда, якобы влюблённый в русскую поэзию дипломат «был едва ли не в штатском». Да и наш литературовед в данном случае руководствовался не любовью к поэзии. Как отмечал Д. Урнов, «без санкции подобный шаг мог совершить только безумец».

Беседа с поэтессой английского дипломата в штатском, влюблённого в русскую поэзию, и нашего литературоведа затянулась далеко за полночь. Под утро со двора под окном

А. Ахматовой раздались крики на иностранном языке, как говорили, какого-то «пьяного иностранца». Оказывается, это сотрудник посольства искал своего атташе по ночному Ленинграду, каким-то образом знавший где его искать... А сотрудник был не простой, а сын самого У. Черчилля Рэндольф. Д. Урнов отмечал, что «вёл себя Рэндольф во время поездки в Советский Союз нагло-развязно, нарочито-оскорбительно, и то был пролог к выступлению Черчилля-старшего: в горячей войне свою роль русские союзники выполнили, и начинается с ними, как с противником, холодная идеологическая война».

Из доклада Берлина в Форин Оффис о своём успехе однозначно свидетельствует, что дипломатический демарш был направлен против А. Ахматовой и шире – против русской литературы вообще. Берлин же докладывал предельно определённо: «Каковы бы ни были причины, врождённая ли неиспорченность вкуса или же насильственное отторжение пошлятины и дешёвки в литературе, каковые могли бы испортить этот вкус, но факт остаётся фактом, что в наше время, возможно, ни в одной другой стране классическая и современная поэзия не расходится в таких количествах и не читается с такой жадностью, как в Советском Союзе, и это обстоятельство не может не являться побудительным стимулом как для критиков, так и для поэтов».

Но Берлин не только посетил А. Ахматову, но после политического скандала опубликовал её стихи в курируемом им международном журнале. Разумеется, дипломат знал, зачем он это делал. Не для популяризации поэтессы в мире, а для создания ей проблем в своей стране и обществе... Эта дипломатическая провокация, как понятно, в информационное пространство не попала. В связи с этим Д. Урнов писал: «Рассказали бы народу, как было, не больше того, что изложил в своих мемуарах Берлин: пришли, побеседовали, ночная беседа затянулась далеко за полночь и оказалась прерванной криком пьяного иностранца... Как отозвался бы едва оживший Ленинград и вся изуродованная войной страна? ...Не показалось бы проработочное Постановление похвалой по сравнению со всенародным осуждением?»

Конечно, Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград» было только эпизодом «ленинградского дела», результатом которой стала грандиозная чистка партийных структур, закончившаяся

трагически. Критик Сергей Куняев обстоятельно проанализировал не только суть этой жестокой внутривнутрипартийной борьбы, но и собственно журналы за 1944–1946 годы. («Жертвенная чаша», М., Голос_Пресс, 2007). Журналы явно демонстрировали отход от революционной, «интернациональной» традиции и возвращение к русской традиции. Можно сделать вывод, что в выигрыше остался британский дипломат Берлин: используя внутривнутрипартийную борьбу и литературную борьбу, ему удалось-таки разрешить свою озабоченность пробуждением русского народного духа и самосознания. Это и свидетельствует о том, что целью его дипломатического демарша была именно русская литература.

Могла ли знать Анна Ахматова о смысле этого дипломатического демарша? Конечно, нет. Она-то и узнала о грозном постановлении случайно. Вот как это описал Э. Бабаев: «Все вдруг повернулись спиной, рассказывала Анна Ахматова. – Люди стояли лицом к стене у заборов, у витрин, сгрудившись и читая друг у друга из-за плеча свеженакленные газеты. Я подумала: «Что-то случилось». И вдруг из-за чужих спин и голов прочла своё имя». «В Москве я пришла к Николаю Ивановичу (Харджиеву) и сказала: «Меня там ругают! Последними словами...». А он ответил: «Это и есть слава! Разве вы не знали?» (А. А. Ахматова в письмах Н. И. Харджиеву (1930–1960 гг.), «Вопросы литературы», № 6, 1989).

Но эта трагическая для А. Ахматовой и М. Зощенко история через восемь лет, в 1954 году получила продолжение, чем и подтверждается её описанное Д. Урновым значение. Поводом послужило событие, в котором имена А. Ахматовой и М. Зощенко оказались снова связанными так же, как и в постановлении 1946 года: «А восемь лет спустя их обоих пригласили на собеседование с оксфордскими студентами, приехавшими в СССР в качестве туристов. Юные англичане любопытствовали, как отнеслись эти знаменитые писатели к докладу члена Политбюро А. А. Жданова, подвергшего их обоих небывалому по грубости поношению. Ахматова на заданный вопрос ответила лояльно. Зощенко не выдержал и стал объясняться. Это его погубило». (Э. Герштейн, «Вопросы литературы» № 6, 1989). Примечательно, что либеральничавшие писатели и многие годы спустя так и не смогли разобраться в этой сложной трагической для А. Ахматовой ситуации, продолжая осуждать её (Б. Сарнов, Е. Чуковская, «Юность», № 8,

1988). Но удивительно, что препятствием для борьбы с литературой в России дипломат в штатском выдвигал именно те догматы, которые исповедовали и всё ещё исповедуют наши либеральничавшие литераторы – партийный контроль и «свобода самовыражения»... Это можно было бы посчитать лишь декларацией о намерениях, если бы в последующем, вплоть до сегодняшнего дня русская литература у нас, не вытеснялась столь настойчиво из общественного сознания и образования: «Посеяв в России хаос, мы незаметно подменили их ценности на фальшивые» (А. Даллес).

О ком это писала А. Ахматова с такой исповедальностью и болью в стихотворении, точная дата создания которого неизвестна? Если упоминается «вертеп» и она страдает за то, что верна осталась печальной родине своей, то это обращение не к власти:

*Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.*

Нам теперь сложно даже представить действительные отношения поэта, власти и общественного мнения в такую эпоху. А также влияние на нашу духовно-мировоззренческую жизнь извне. А потому мы не имеем права осуждать поэта за те или иные поступки. Но упрощение и сокрытие истинной проблемы «поэт и власть» открывает возможность для всевозможных спекуляций, как это и произошло в посмертной судьбе О. Мандельштама. Так создавался механизм всякого истинного поэта в России выставить жертвой произвола и насилия. Не идеологических трубадуров, коих слишком уж много оказалось в среде «шестидесятников», а истинных поэтов...

Как О. Мандельштам якобы противостоял власти и боролся с ней, в каких отношениях был с наиболее влиятельными её представителями, сошлюсь на статью художника и поэта

Евгения Антипова «Поэт и власть. Несколько малоизвестных эпизодов из жизни Осипа Мандельштама». Сделаю из неё лишь некоторые выписки: «Драматург Александр Гладков пишет в своём дневнике: «Мандельштам имел прямые контакты с Дзержинским, Бухариным, Гусевым. (Гусев С. И. в 1919 году возглавлял разведку – *Прим. Е. А.*) Ему помогали Молотов, Киров, Енукидзе. Он имел персональную пенсию чуть ли не с 30-летнего возраста. Когда он ехал на Кавказ, туда звонили из ЦК и просили о нём позаботиться. Вернувшись, он ходил снова на приём... Его посылали в привилегированные санатории и дома отдыха.

...Яков Блюмкин, имевший (хоть и левый эсер) колоссальный вес в ленинском правительстве, был арестован после кремлёвского банкета в связи с доносом (своевременной инициативой) Мандельштама. Мандельштам на том банкете пил мало, налегая на икру и пирожные, Блюмкин же выпил крепко, ну и достал кое-какие документы. Выдελывался, говоря языком сегодняшним. А человек Блюмкин был непростой, и документы у него оказались соответствующие. Кстати, расстрельные списки утверждал именно Блюмкин. На следующий день Феликс Эдмундович тряс руку Осипу Эмильевичу со скупыми словами благодарности за проявленную бдительность.

...А судьба сложная. То в разгар революции, когда население Петрограда с голодухи да от репрессий сокращается в пять раз, Мандельштам по несколько раз на дню принимает ванны в «Англетере» и в номер ему приносят молоко, то белые офицеры – как-то в Коктебеле – его ставят к стенке. То в литературном пайке от Максима Горького не обнаружит штанов, лишь одинокий пиджак, то снова снимает номер в «Англетере», но уже для встреч с любовницей (жена тогда сильно болела). То в Киеве его арестовывают за спекуляцию яичком, то вдруг, молодой и трудоспособный, самый печатаемый (после Маяковского), но никогда не работавший и при советской власти книг не издавший, он начинает получать пенсию с уникальной формулировкой «за заслуги в русской литературе». (Пенсию назначил Молотов по ходатайству Бухарина, к которому Мандельштам по-дружески заходил на чай). А то, из соображений, должно быть, социального равенства, Мандельштам норовит что-нибудь украсть. Причём как у посторонних, так и у своих. На зоне же такая хроническая тяга к социальному равенству не оставляет шансов дожить

до амнистии. И нет в зоне ни народного комиссара внутренних дел и петроградского главы Зиновьева с покровительством да ваннами – Григорий Евсеевич к тому времени сам оказался бешеным троцкистом и политической проституткой... (в теннис – на курорте – Мандельштам играл не просто так, а с Ежовым). После того, как Ежов был арестован, Мандельштам отправился во Владивосток». («Литературная газета», № 9, 2021).

Как видно, О. Мандельштам пострадал не за радикальные стихи о «кремлёвском горце», не за славословные до неприличия «Стихи о Сталине», а потому, что в верхних эшелонах власти карательных органов сменилась «команда». А это в условиях жестокого идеологического противоборства происходило периодически. И все, кто был причастен к этой «команде», сочувствовал ей или имел к ней какое-то отношение, тоже оказывались наказанными...

На таком фоне вся эта «травля» поэта советской властью, созданная позже в целях идеологических и политических теперь уже для борьбы против советской власти, выглядит не то что несправедливой и неуместной, но просто бессовестной. Ну странная же картинка из жизни поэта, «травимого» советской властью: присутствует на приёме в Кремле, налегая на икру и пирожные... И, кстати, по большому счёту, во временном развитии, никому не нужной – ни поэту, ни обществу, ни тем более тем, кто эти мифы о поэте создавал и внедрял в общественное сознание...

Но использование имени О. Мандельштама в идеологических и даже политических целях продолжается. Причём, принимает и вовсе какие-то радикальные и упрощённые формы, несмотря ни на что, ни на какие изменения, происходящие в стране и в мире. Об этом говорит, к примеру, статья А. Минкина «Вторая речка» («Литературная газета», 41, 42, 2023 г.) «Он (Мандельштам) ошибся». «Мы запроданы рябому чёрту» не «на пять поколений вперёд», а навсегда. Автор столь обуюя «десталинизацией», что словно и не замечает, что она направлена уже не на «рябого чёрта», а на страну: «Удушье, страх и душевное рабство останутся. Надежды тают, а ледяной панцирь растёт, обнуляя идеалы, законы, отравляя душу. С пелёнок. Ребёнок рождается в мир, где атмосфера отравлена, для него это родной воздух, это наша родина, сынок». «Мы живём, под собою не чуя страны» – это сознательный героизм.

Но у О. Мандельштама в этих стихах, и у современного публициста речь идёт не о политическом режиме, а о стране. В таком случае, в чём героизм? В отрицании своей страны? Но это называется не героизмом, а скорее – смердяковщиной...

В заключение приведу факт, эпизод из нынешней литературной жизни, которая уже давно всё менее и менее становится литературной. К сожалению, конечно.

Председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер, видя в Мандельштаме не иначе как «гения», а в его творчестве «великую поэзию», высказал характерную точку зрения о том, как якобы наследие поэта входило в литературу и общественное сознание: «Прорастание через самиздат и расцвет его посмертной славы, пришедшей не сверху – через признание государством (что, как ни странно, но тоже произошло), а снизу – через читательскую и исследовательскую любовь» («Литературная газета», №№ 1–2, 2021). Но ведь поэзия О. Мандельштама становилась общественным достоянием не так, даже далеко не так, а скорее, наоборот. Именно сверху и через признание государством он стал известным поэтом. Русская литература всегда становилась всеобщим достоянием не через её «потаённость» в XIX веке и не через самиздат и диссидентство в последующем. Эта специфическая и протестная часть литературы никогда не составляла её магистрального пути. Так было и с поэзией О. Мандельштама. Но согласно либеральному догмату хочется представить всё так, что поэзия его входила через самиздат, снизу. Таким образом, догмат становится дороже истинного положения вещей...

Как совершенно очевидно, в целях идеологических и политических, дабы вышла «травля» поэта со стороны власти и он предстал непримиримым борцом со сталинским режимом. На самом деле это была идеология, к поэту имеющая уже довольно отдалённое отношение, идеология развенчания уникального послевоенного периода нашей истории, беспричинное разрушение которого и до сих пор сказывается во всех областях народной и государственной жизни...

Как человек с революционным типом сознания (именно так), О. Мандельштам был поэтом этой власти, власти с «революционными ценностями»: «Блеск этой «ледяной Эллады» был определён красным, в первично октябрьском духе» (Г. Иванов). Потому она его так и опекала, издавая почти наравне с В. Маяковским. Как писал Г. Иванов, «за пять лет

(1923–1928) Мандельштамом издано и переиздано десять книг стихов и прозы... Восемь книг переводов, ряд книг, вышедших под его редакцией, длинный список советских журналов и газет, печатавших Мандельштама». Это были для него поистине, по выражению его брата Е. Э. Мандельштама, «годы признания и поэтической славы». Это уж «травлей» поэта со стороны власти никак нельзя назвать.

Но эта власть менялась, предприняв с начала 1930-х годов радикальный поворот от *революционного* сознания к *традиционному*. Поворот неизбежный после всякого революционного крушения страны. Это была «реставрация», «смена вех», созидание новой, никому пока неведомой государственности. Но судя по стихотворению 1933 года «Мы живём, под собою не чуя страны...», этот радикальный поворот, то есть основное содержание наступающей эпохи, оказалось О. Мандельштамом не замеченным и не понятым.

Да, современный исследователь П. Нерлер говорит не о годах его «признания и поэтической славы», а о «расцвете его *посмертной славы*». Но эта слава поэта носила, да и носит совсем иной характер и имеет иную мировоззренческую направленность, так как опирается «на солидную научную традицию». «Традиция» эта сводится к тому, что О. Мандельштам якобы не соглашался с советской действительностью, активно противостоял ей, что он был «непримиримым критиком Сталинского режима», что, конечно, не соответствует действительности. Но, в таком случае, почему это называется *научной* да ещё солидной традицией?.. Недопустимо же обширный научный аппарат выдавать за действительную науку.

Тем более, что хорошо известно, как эта «традиция» зародилась, точнее, как была сделана рукотворно и преднамеренно. А. М. Богомолов, рассматривая книгу (диссертацию) И. Месс-Бейер «Мандельштам и сталинская эпоха», написанную в этой новой «традиции», не соглашаясь с ней, отмечал: «И. Месс-Бейер опирается на солидную научную традицию и, если можно так выразиться, традицию нравственную. Начало первой положили составители и комментаторы четырёхтомного собрания сочинений Мандельштама (1967–1981) Г. П. Струве и Б. А. Филиппов, представившие как во вступительных статьях, так и в комментариях к томам множество сведений, создающих вполне определённый облик Мандельштама-поэта. Вторая была представлена прежде всего Н. Я. Мандельштам –

в книгах воспоминаний и прочих публикациях, связанных с творчеством её покойного мужа. Яркая талантливость и убеждённость автора в преступности советского режима обеспечила мемуарам почётное место не только в советском самиздате и в исследовательских трактовках русской неподцензурной литературы, но и в складывающихся концепциях творчества Мандельштама» («Новое литературное обозрение» № 3, 1998). Но создание «вполне определённого облика поэта», а не действительного – некорректно и недопустимо.

Это, пожалуй, единственный, феноменальный случай литературы, чтобы жена не просто хранила наследие своего мужа, но *продолжала* его, «исправляя» и «поправляя». Разумеется, в согласии со своими убеждениями и идеологическими пристрастиями. И главное, чтобы это находило не то что литературную оценку или осуждение, но восхищение в среде литературной. Чего не сделаешь во имя дорогих идеологических догматов. А потому скажу на это словами Л. К. Чуковской: «Я занималась Н. Я. Мандельштам потому, что меня пугает уровень общества, в котором такие люди имеют успех». Нельзя не задаться вопросом: а собственно почему сложилась такая «традиция» в постижении наследия О. Мандельштама? Ведь, казалось, что о наследии «гения», как нередко называют его почитатели, должны быть и литературные, литературоведческие исследования, показывающие достоинства и красоты его поэзии. Но их почти нет. Обязательно – с идеологической и политической подоплёкой, к творчеству поэта имеющие отношение довольно отдалённое. Складывается впечатление, что главной особенностью творчества О. Мандельштама является его мифическая «травля»... Остаётся надеяться на благое пожелание, пока ничем не подтверждаемое, что «в мандельштамоведении наступило время новых интерпретаций уже известного» («Литературная газета», № 1–52, 2020).

Было бы любопытно и поучительно встретить собственно анализ поэзии О. Мандельштама, не заслонённой ни идеологическими догматами, ни ярлыками типа «гений», помня слова Г. Адамовича, что «никогда манера письма не была и не будет решающим признаком для оценки чьего-нибудь творчества. Пора на этот счёт перестать обольщаться». То есть, определить его истинное место в русской поэзии.

П. Нерлер на вопрос о том, «как обстоит ситуация с наследием Мандельштама сегодня», ответил вполне оптимистически –

«в общем-то прекрасно обстоит» («Литературная газета», № 1–2, 2021). Восхитился тем, что «перестройка всё перевернула: книги Мандельштама стали выходить массовыми тиражами». Именно «перевернула»...

Но восхищения и радости это не вызывает, так как наряду с этим произошло немыслимое и, казалось, невозможное: русская литература и прежде всего классическая, выброшенная в «рынок», к ней вообще неприменимый, уже давно настойчиво и последовательно вытесняется из общественного сознания и образования. А. Пушкин перестал издаваться массовыми тиражами. Разве можно радоваться тому, что новые поколения людей не приобщаются к народному самосознанию?.. Это ведь несовместимо и не может считаться нормальным. Не может в литературе «процветать» наследие одного автора, а вся литература, по сути, изыматься из общественного сознания и образования. Невольно возникает вопрос: значит, наследие одного автора – «вместо» всей литературы? Или как? А общую картину удручающего состояния русской литературы и её положения в обществе литераторы и люди, считающие себя таковыми, видеть обязаны...

Очередное покушение на русскую литературу совершено с началом нового учебного года в 2023 году. Некое учреждение, витиевато называемое «Федеральный институт педагогических измерений» оказывается «подогнал» ЕГЭ под ФГОП (федеральную образовательную программу) по литературе 10–11 классов. Причём, так, что на ЕГЭ не выносятся классика, которую школьники изучали в 5–9 классах: «Слово о полку Игореве», А. Грибоедов, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь... Так классики XIX века исчезли из программы ЕГЭ по литературе... Педагогическое сообщество и вообще здравомыслящие люди возмущены. Но это ведь несмотря ни на что происходит. Поэт и педагог Инна Кабыш, к примеру, писала: «Такое и в страшном сне не приснится: из экзамена по литературе исключены «Слово о полку Игореве», Державин, Фонвизин, Жуковский, Грибоедов, – держись, читатель! – Пушкин, Лермонтов и Гоголь». («Литературная газета» № 4, 2023 г.).

Манипуляция, с помощью которой это совершено, столь проста, если не сказать больше, примитивна, что не заслуживает серьёзного рассмотрения, не говоря уже о том, что никакой «Институт», даже с самым продвинутым названием,

не имеет права изменять стандарты изучения русской литературы в школе...

Но мы как раз об этом и говорим, что иерархия ценностей в обществе не может быть нарушена ни при каких обстоятельствах, ибо это неизбежно влечёт за собой нарушение во всех сферах жизни, её упрощение и деградацию. Для всех без исключения.

г. Москва